



КНИЖНАЯ  
ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Увлекательные эссе  
и рассказы от лауреата  
премии «Национальный  
бестселлер»

ПЕТЕРБУРГ: ТАЙНЫ, МИФЫ, ЛЕГЕНДЫ



Сергей Носов  
**Поцелуй  
Раскольниковова**

Книжная лавка писателей

Сергей Носов  
**Поцелуй Раскольниковова**

«АСТ»

**Носов С. А.**

Поцелуй Раскольникова / С. А. Носов — «АСТ»,  
— (Книжная лавка писателей)

ISBN 978-5-90615-083-7

Давно замечено, что удивительные тексты Сергея Носова, когда бы они ни были написаны, обладают способностью взаимодействовать друг с другом, парадоксально сочетаться и образовывать новые, совершенно неожиданные и чудесные книги. Как эта. Излюбленная тема литературного творчества Носова - Петербург и его обитатели. «Поцелуй Раскольникова» - все о том же: о мистическом городе, его памятниках и их тайнах. В книге собраны невероятные петербургские истории и странноватые персонажи, среди которых есть даже Ленин, который... Впрочем, зачем пересказывать? Читайте книгу, которая перед вами!

ISBN 978-5-90615-083-7

© Носов С. А.  
© АСТ

## Содержание

1		5
	ХОЗЯЕВА САДА	5
	ПОЦЕЛУЙ РАСКОЛЬНИКОВА	9
	ДОСТОЕВСКИЙ НА СЕННОЙ, ИЛИ СЕННАЯ БЕЗ ДОСТОЕВСКОГО	11
	ЗАКРЫТИЕ ТЕМЫ	15
2		22
	ПО СОСЕДСТВУ С ДОСТОЕВСКИМ	22
	Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Сергей Носов

## Поцелуй Расколькова

### 1

#### ХОЗЯЕВА САДА

*«И, кажется, вечер еще бродил  
я в этих рощах...»*

Ночь, теплая, уже не белая августовская ночь. Последний (наверное, последний) трамвай. Мы выходим из пустого вагона, идем по безлюдной Садовой. Оба одеты не по-городскому – на мне резиновые сапожки, отец в стареньких кедах, за плечами у него рюкзак, в котором лежит большая хозяйственная сумка; у нас фонарики – на плоских больших батарейках, которые забавно проверять на язык.

За оградой в глубине Михайловского сада едва мерцают огоньки – два, три, четыре... то появляются, то гаснут. Это пришедшие раньше нас. Увидев огоньки, отец воодушевляется: значит мы не одни – есть что собирать! – значит выползок ожил!.. Кажется, нам действительно повезло: днем был дождь; все складывается как нельзя удачно. Влажная почва и теплая ночь – главные условия хорошей охоты.

Ворота закрыты, висит замок – на ночь сад закрывается. Будем проникать со стороны Садового моста, в год моего рождения его стали называть Первым Садовым, чтобы не спутать с тогда же нареченным Вторым, но я еще об этом не осведомлен, потому что моя голова еще не забита ненужным.

Мне девять лет.

Ограда завершается округлой секцией; пики, исходящие из одной точки, под разными углами целятся в пространство Марсова поля. Залезаем на парапет; хватаясь за пики и нависая над береговым скосом, перебираемся в сад. Отец доволен: нас никто не заметил. Не зажигая фонариков, идем в темноту, подальше от освещенной Садовой. Трава влажная, это хорошо, они любят сырость.

Отец включает фонарик, мы видим край газона; крохотные кучки земли – это следы недавнего присутствия выползков. Самих, однако, выползков нет. «Шумно идем, – говорит отец, – попрятались». Я знаю: у них великолепный слух. Неужели у них есть уши? Мы проходим еще в темноте – тихо-тихо, почти на цыпочках. Некоторое время стоим, замерев. Тишина. Город уже уснул. Где-то далеко, за Фонтанкой, проезжает машина. Над нами кроны старых деревьев – безветрие – листья лип не шумят. Оборачиваюсь на темный силуэт пристани-павильона. Днем здесь играют в шахматы за столиками и на скамейках. Что это за силуэт – словно кто-то сидит? Может быть, уснул шахматист?

«Посвети», – тихо произносит отец, я включаю фонарик, направляя луч ему под ноги, и словно кто-то в землю зарытый хочет ощупать поверхность земли высунутым мясистым мизинцем – вот что мы видим: настоящего выползка! Отец медленно наклоняется к нему, замирает на секунду-другую и, быстро схватив двумя пальцами, стремительно вытаскивает из норки. Я поражен: я никогда не видел таких длинных червей! Сантиметров тридцать, не меньше!

Это не простой земляной червяк, это не из тех, которых я собирал в деревне. Большой ночной выползок, вот кто он. Днем он прячется глубоко под землей, ночью поднимается наверх, чтобы, высунувшись из норки, поработать цепким ртом, собирая гниющие травинки и листья. Земля Михайловского сада очень богата выползками. Теперь я это вижу сам. Куда ни посветишь фонариком – всюду они. Но поймать выползка не так-то легко. Только коснешься – и он мгновенно исчезнет. Прячется под землю с невероятной скоростью. С легкостью проскальзывает между пальцев. Надо уметь. Я учусь. Если схватить не у самой норки, ускользнет обязательно. Мне удастся вытащить из земли только четвертого. Приноровился, у меня получилось. Огромный, не стыдно испугаться такого.

Нас прибывает. Теперь с десятков фонариков блуждает по саду. Свет у всех тусклый, рассеянный – выползки боятся яркого света.

Вдвоем легче: светит один, другой наклоняется. Отец и я – только нас двое, остальные собиратели все одиночки.

Мы, наверное, похожи на грибников, перепутавших день с ночью.

Как это им удается исчезать с такой быстротой? – думаю о выползках и не могу их понять. Какая сила утягивает их под землю?

Тень императора Павла наблюдает за нами из окна замка. Михайловский замок, я знаю, называют еще Инженерным, я не знаю только, что там есть техническая библиотека и что я буду туда приходить – искать по реферативным журналам иностранные аналоги для наших изобретений. Я не буду биологом, а стану инженером, как не стал биологом, а стал инженером отец, хотя он был в детстве юннатом, ходил в кружок при Зоологическом музее, ездил в экспедиции, научился рисовать птиц и знает, что выползков едят не только кроты, но и лисы, и барсуки, и даже при определенных обстоятельствах люди.

Мои родители инженеры, они работают в «почтовом ящике», проектируют какие-то приборы, устройства, дома я слышу слова «снять характеристики», «довести до ума», их работа настолько секретная, что мне нельзя даже упоминать о ней в школе, только я не знаю сам толком, о чем же мне нельзя упоминать.

Я знаю, что в убийстве Павла был замешан его собственный сын. Как это – сын убивает отца? Не представляю. Рядом с Михайловским садом – только с другой стороны – был убит еще один император. Вижу темные очертания храма, построенного на месте убийства. Говорят, Спас-на-Крови собираются срыть. Рядом невысокий дом, когда-то принадлежавший церкви. В коммунальной квартире бывшего церковного дома росла моя мама – ей было двенадцать, когда в храм попал, но не взорвался, немецкий снаряд. Странно, до войны она часто гуляла по саду, но даже не слышала никогда о существовании выползков. Вот удивится, когда принесем полную сумку.

Больно ли червяку, когда его насаживают на крючок? Отец говорит: наверное, больно, только сам червяк об этом не знает. Спустя тридцать лет правительство Норвегии, вняв «зеленым», тем же задался вопросом и профинансирует научные исследования по этой теме. Ученые придут к выводу: червяку не больно. Червяк боли не знает, скажут ученые. А то, что он извивается на крючке, – это все рефлекторное.

Чем глубже ночь, тем смелее выползки показываются из своих норок, брать их становится проще. Особенно много в южной стороне сада – там, где гранитные ступени ведут к Михайловскому дворцу.

Здесь все Михайловское – сад, замок, дворец.

Почему-то им нравится обитать поблизости от каменных плит.

И еще они любят, когда рядом деревья.

Здесь дубы, липы и тополя.

Мертвый древний дуб – нам вдвоем не обхватить руками, из его ствола вырублено многофигурное нечто. На всю высоту. А высота – трехэтажного дома. Он и днем страшноват, ночью лучше и вовсе не светить фонариком на лобастые головы...

Отец говорит, что эти головы старше его самого. И что мастер вложил какой-то в них смысл. Никто не знает какой. Мертвый дуб не переживет реконструкцию сада – лет через тридцать его распилят на части.

По ночам в Ленинграде еще не практикуют подсветку исторических зданий. Замок Павла со шпилем, храм, дворец теряются в темноте. Ночь безлунная. Боятся ли выползки луны? На Садовой гаснут светильники – экономия света. Как это – быть червяком? Жить в земле? Выползть ночью наружу?

Почему он червяк, а я человек?

Это правильно. Но справедливо ли это?

На работе у отца сплошь рыбаки. Собираются на Селигер за налимом. Налим любит выползков. Сумка, полная выползков, будет храниться у нас в холодильнике.

Тайна, известная мне: другой император, бронзовый, вместе с конем был в блокаду засыпан песком и землей – и вот здесь, в этом саду, возвышался над ним высоченный курган – представляю какой. Очень загадочный памятник, – в мирное время к нему не знали как относиться: плохой он или хороший. Царь, конечно, плохой, его хотел убить Александр Ульянов. А памятник, он хороший? Зачем же его перетаскивают с места на место? Нет его больше в саду, но я знаю он где: он во внутреннем дворике, это рядом, я видел. Тяжелая маркиза надежно закрывала в музее окно, но шелка все же была, и он там стоял (маркиза – не женщина, а занавеска.) Вернее, лошадь стояла. Император сидел неподвижный верхом. Он был, как и мой отец, засекречен. Пройдут годы, его рассекретят и установят на месте ленинского броневика, того самого, рядом с которым я принят был в пионеры.

Инженер из меня почему-то вышел плохой. Расставляю слова, чем и живу.

А еще здесь были грядки во время блокады. Дождевые черви, разрыхляя садовую почву, приносят известную пользу земле, а овощи они не едят. Может быть, выползки, которых мы собираем, потомки тех, что разрыхляли почву блокадного огорода.

Пытаюсь представить себя разрыхлителем почвы – в норе. Нет у меня ни рук, ни ног, ни глаз, ни ушей... есть только длинное-предлинное голое тело, которым прижимаюсь к чему-то (я же не знаю слово «земля»!).... Рот, он есть, упирается в землю (но я не знаю ни «рта», ни «земли»), я вытягиваюсь вперед, проникая в твердое заостряющейся головой... у меня нет головы, но был бы я человеком и была бы у меня здесь голова... и, проникнув ненамного вовнутрь, начинаю, телом сжимаясь, разбухать головой, которой нет у меня, но была бы, если бы я был человеком... Так я расширяю пространство норы. А потом сокращаюсь. И снова, длинный-предлинный, упираюсь ртом в твердую землю...

Самое жуткое, что я совершенно один. Нет ни родителей, ни друзей. Никого. Я один – сокращающийся и удлиняющийся... заглатывающий крохи земли и кусочки гнилушек...

А если бы мне сильно не повезло и я бы родился не в семье людей человеком, а червяк породил бы меня червяком... и был бы я всю жизнь червяком... и никто бы не знал, что этот червяк – это я... Никто, ни одно существо на свете!.. И если бы мой отец, у которого я б не родился, насаживал меня на рыболовный крючок, разве бы думал он обо мне?.. ему бы и в голову не пришло, что на крючке – это я... что это я извиваюсь... Да я бы сам о себе не знал ничего (что это я, я б такого не знал!)... Даже тогда, когда бы я вылезал наполовину из норки и было бы мне хорошо, я бы не думал ни о себе, ни о мире, в котором живу, потому что червяк не знает, как думать, а просто живет...

Мы, собиратели выползков, бродим по саду и невольно встречаемся на Большой Проплешине (днем здесь мальчишки гоняют мяч). Один, который с ведром, угощает двух других «Беломором». Отец не курит уже несколько лет – говорит, что свое откурил. «Не с

одной» – говорит, который с корзиной и, дав прикурить первому, гасит спичку. Потом со второй спички дает прикурить второму, с третьей сам прикурил. Обсуждают добычу и кто поедет куда. Кто за налимом, кто за язем, кто за сомом. Спорят, как лучше приманивать крупную рыбу. Мы с отцом возвращаемся к павильону, что придуман архитектором Росси. Я отчетливо вижу: никто на стуле не спит. Спрашиваю отца, почему нельзя вдвоем прикуривать от одной спички. Он отвечает, что это окопный закон. Снайпер успеет прицелиться на огонек и снять второго.

Я не понимаю, шутит он или нет. Если был бы здесь снайпер, где бы сидел? На крыше дворца? На суку столетнего дуба? Оглядываюсь по сторонам, всматриваюсь в темноту.

С Невы доносится гудок. Плывут корабли. Выползки привыкли к ночным гудкам, они их не боятся. Мосты разведены, но нам с отцом не надо тревожиться – мы живем на этой стороне, а через Фонтанку мосты не разводят.

Мы перелезаем через ограду, минуем замок и цирк, идем вдоль Фонтанки пустынным городом. Сумка, полная выползков, лежит у отца в рюкзаке.

Выползки живут по несколько лет. Неужели это правда, что они не чувствуют боли? Трудно поверить. Трудно представить, но, может, кто-то из них – мой ровесник?.. Господи, как хорошо, что я человек!

## ПОЦЕЛУЙ РАСКОЛЬНИКОВА

### Вид из окна

За фасадом Юсуповского дворца (не того, что на реке Мойке, где убили Распутина, а другого, на реке Фонтанке, что напротив нашего окна) виднеется башенка. В стародавние времена на ее остроконечном шпиле развивался красный флаг. По нему я определял направление ветра, когда подходил к окну. Каждую осень в наших местах господствует сильный западный ветер с залива, первопричина петербургских наводнений. В конце ноября флаг нередко меняли, таким он становился потрепанным. Иногда и вовсе его срывало ветром.

В том здании мы поженились. То есть поставили подписи в соответствующих документах. Брак был тайным. Ни гостей, ни свидетелей. На мне не было галстука. Женщина в строгом платье, в чьи обязанности входило напутствовать молодоженов, удивилась: «Вдвоем?» – «Можно без речей, – сказала невеста. – Про ячейку общества мы все знаем».

На потолке расцветала лепнина бутонами, за спиной женщины – герб СССР. «Все-таки я скажу» – спич оказался на удивление неофициальным. Что-то о здравом смысле, которого всем не хватает. Абсурдист, живущий во мне, шевельнулся и замер. Пожалуй, она нарушала инструкцию. Мы улыбались все трое, как заговорщики.

День был по-ленинградски пасмурным. Выйдя на улицу, сразу поссорились. Через час помирились. Потом мы ссорились и мирились, ссорились и мирились, не понимая, из-за чего ссоримся, потому что ссоримся исключительно из-за пустяков, а по большому счету как-то никогда и не ссорились.

Однажды шквальный ветер сорвал красный флаг, и больше здесь флага не вешали. Все в стране изменилось. Государственная символика и все остальное. Название государства.

Город тоже поменял имя.

Наводнений почти нет. Дамба хоть и недостроена, а худо-бедно защищает город.

О направлении ветра я сужу по кронам деревьев.

### Дирижер

Высокий, худой, в коротких брюках, в перекошенных башмаках, он появлялся то здесь, то там вблизи перекрестка Невского и Садовой. Он всегда держал деревянную линейку, которой то и дело размахивал.

Со мной он почему-то здоровался, возможно, признавал во мне еще одного городского сумасшедшего. Я ж, увидев его, старался незамеченным отойти в сторону.

Я видел, как он дирижирует то на автобусных остановках, то у входа в театральную кассу, то возле спуска в метро.

Я видел однажды, как в «Кулинарии» продавщица дала ему бутерброд с куриным паштетом; он отошел к окну и, зажав подмышкой линейку, стал быстро есть. В эти минуты мир был предоставлен самому себе, следовало торопиться.

По Невскому и Садовой курсировала большая белая карета на огромных колесах. Ее везли две угрюмые лошади. Туристы выглядывали из окон.

Иду я однажды по галерее Гостиного Двора, вижу: едет карета, а улицу наискосок переходит он. Не знаю, что было вначале, он ли взмахнул линейкой – или отвалилось колесо само по себе, без его участия. В любом случае, вслед за первым отвалились и три других, карета с треском опустилась на рессоры, выломались дверцы, и вся конструкция, чуть

помедлив, сложилась, как карточный домик. Среди обломков сидели ошарашенные пассажиры, рядом ходил возничий в какой-то невероятной ливрее и озабочено чесал затылок. А дирижер продолжал вдохновенно размахивать линейкой, и, казалось, это он управляет процессом.

Хоронили поэта Андрея Крыжановского. Никто не заметил, как в числе провожающих в автобус проник человек с линейкой. На кладбище было не до него. Он выдвинулся из толпы, когда гроб на ремнях опускали в яму. И стал дирижировать.

Больше я его никогда не видел. Жив ли – не знаю. Напротив места, где развалилась карета, повесили мемориальную доску, посвященную баснописцу Крылову. Не похоже, что мир стал менее (или более) управляемым. Может, и жив.

## **Поцелуй Раскольникова**

Решив покаяться, Родион Раскольников вышел на середину Сенной площади, встал на колени, поклонился и, не думая о последствиях, поцеловал землю («эту грязную землю», сказано у Достоевского).

Последствия возымели быть через полтора века. На месте поцелуя Раскольникова к юбилею города стремительно вырастает стеклометаллический, весь изнутри светящийся штырь – «Башня мира». Слово МИР изображено на нем более чем на сорока языках.

Знаточи называют сооружение «архитектурной доминантой площади». Раньше у площади была другая доминанта – колокольня храма Успения Пресвятой Богородицы, памятник высокого барокко.

Мне исполнилось пять лет, когда храм срыли до основания. В тот же год у меня нашли паховую грыжу. Груда камней на месте храма и операция под общим наркозом – одни из первых и самых ярких впечатлений детства. Помню еще, в больничном коридоре что-то гудело, наверное, полотер, а во дворе глухо тюкало: тюк да тюк. Сосед по палате (мальчик постарше меня) говорил, что это отрезают и отрубают ноги.

Отец рубил дрова прямо в прихожей – на чурбане. В наш старый дом недалеко от Сенной очень долго не проводили горячую воду.

Позже нашего школьного военрука зарубила жена топором. Он спал и, говорят, ничего не почувствовал. Хочется верить. За день до этого мы поднимали всем классом на четвертый этаж огромный увесистый сейф – для хранения учебных гранат и автоматов.

Говорят, у него была любовница – наша соседка.

На месте храма образовался вестибюль станции метро. Несколько лет назад у вестибюля рухнул бетонный козырек, погибло семь человек. Я видел машины «скорой помощи» и взъерошенного губернатора.

В советские времена Сенная называлась площадью Мира. Говорили, что ее вновь переименоуют в площадь Мира – в честь «Башни мира», выросшей на том самом месте, где Раскольников целовал землю.

## ДОСТОЕВСКИЙ НА СЕННОЙ, ИЛИ СЕННАЯ БЕЗ ДОСТОЕВСКОГО

### 1

Известно, рассказ Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» был воспринят многими как пасквиль.

Прототипом чиновнику, проглоченному крокодилом и вешавшему из нутра чудовища прогрессистские благоглупости, публика назначила осужденного Чернышевского.

Спустя годы, протестуя против «аллегорического» прочтения его сочинения, Достоевский передразнивал интерпретаторов: «В чем же аллегория? Ну конечно – крокодил изображает собою Сибирь; самонадеянный и легкомысленный чиновник – Чернышевского. Он попал в крокодила и все еще питает надежду поучать весь мир».

Вряд ли бывший каторжник Достоевский, когда писал своего «Крокодила», сомневался в том, что уже никогда и ни при каких обстоятельствах не лишится свободы. Однако лишился. Но ненадолго. Дело в том, что, будучи редактором «Гражданина», он допустил оплошность, наказуемую арестом и штрафом: напечатал без разрешения министра императорского двора материал, содержащий слова Александра II. И случилась эта оплошность всего через три недели после того, как Достоевский в том же «Гражданине» объяснялся по поводу Чернышевского и своего «Крокодила». Приговор Окружного суда был приведен в исполнение в марте 1874 – бывший каторжник на двое суток стал арестантом.

Сидел он в здании Гауптвахты на Сенной площади. По воспоминаниям надзирателя (достоверность которых, впрочем, сомнительна) писатель коротал время за картами в компании с неким Александровым, купеческим сыном, тоже отбывающим срок. Чем бы ни занимался Достоевский эти два дня, молодому арестанту о своем каторжном прошлом он несомненно рассказывал и наверняка мысленно обращался к своему «Крокодилу» и судьбе Чернышевского. По сути, Достоевский сам «попал в крокодила», было что-то пародийное в его досадном и нелепом аресте. Вот чего точно не мог предугадать автор «Крокодила», так это того, что в том же помещении через век с четвертью будет заключен сам крокодил – живой крокодил в стеклянном террариуме.

В 90-е годы двадцатого века в здании бывшей Гауптвахты Сенного рынка (образец классицизма, архитектор В. И. Беретти) разместится выставка экзотических рептилий. Предприятие окажется выгодным – процветать ему и в новом тысячелетии. Я заходил, я видел того арестанта. Назвать его огромным было бы преувеличением; такой не проглотит ни Чернышевского, ни чиновника даже низкого роста; пожалуй, крокодил, которого выставляли в Пассаже в далеком 1864, был покрупнее. Но и наш может схватить за руку.

Вряд ли наш – потомок того. Хотя кто знает? Я спросил служительницу, не нужны ли на прокорм крокодила дохлые крысы (в старом доме недалеко от Сенной мы боремся с крысами с помощью крысоловок). Я бы мог поставлять. «Только живых, – сказала служительница, – и только бесплатно». Ушел.

### 2

Вооруженный топором, удаляясь от Сенной все дальше и дальше, Раскольников шел на убийство. В голову ему лезли мысли, несообразные с тяжестью преступного замысла.

Известно: «Проходя мимо Юсуповского сада, он даже очень было занялся мыслью об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях». Кроме того, известно нам, что «ему вспомнились собственные прогулки по Сенной», то есть, надо полагать, на короткое время он мысленно перенесся назад по Садовой – шагов на 350–400, именно там и материализовался горячечный бред Раскольникова: возник фонтан. Но не сразу. Через 138 лет, к 300-летию Санкт-Петербурга. Фонтан представляет из себя поилку для лошадей, за отсутствием оных поднятую на возвышение. Вверх не бьет, четыре струи направлены вниз. Вряд ли бы он удовлетворил Раскольникова.

### 3

Начнем издалека и с общеизвестного.

1) «Преступление и наказание» входит в условную группу «главных», «мировых» романов, скажем, в десятку, или двадцатку – не важно.

2) Если бы мы захотели выделить из этой десятки-двадцатки такие произведения, месту действия в которых с максимальной точностью отвечает топография реальной местности, пришлось бы назвать два творения – роман Достоевского и «Улисс» Джойса.

3) Из великого множества уголков Дублина, упомянутых в «Улиссе», нельзя выделить особого места, связанного с ключевым, кульминационным, смыслоотягивающим происшествием, по причине отсутствия отвечающего тому эпизода: кульминации в традиционном понимании этого слова в «Улиссе» нет. В «Преступлении и наказании» – есть. Соответственно есть и место, относящееся к этому эпизоду, и оно в романе обозначено точно: середина Сенной площади, перекресток («Поди на перекресток, поклонись народу...»), место, где Раскольников – в экстазе духовного очищения – целует «эту грязную землю».

Но раз так, то, следуя этой логике, надо признать, что перекресток Садовой улицы и Московского (тогда Обуховского) проспекта, продолженного переулком Гривцова (тогда Демидова), есть самый литературный топос на земном шаре. Более «литературных мест» на планете не существует. Почему-то столь очевидная мысль никому не приходит в голову. Я сам тысячи раз бестрепетно топтал ногами этот участок уже не столько земли, сколько асфальта, множество раз проезжал по нему на трамвае, но никогда и в голову не приходила мне мысль о тайном статусе этого «пятачка».

Место напомнило само о себе. Причем таким фантастическим образом, что если бы Достоевскому пришло в голову задуматься о будущей судьбе им обозначенных петербургских реалий, ничего похожего он не смог бы и вообразить. Через 138 лет после того как, рухнув на колени, Раскольников целовал здесь грязную землю, из целованной этой земли вырос невероятный объект, именуемый Башней мира.

Он действительно скорее сам вырос, чем был воздвигнут, скорее образовался сам, чем был образован. Ведь по первоначальному замыслу нечто подобное, концептуально высокое и стеклометаллическое должно было стоять у морских ворот города, изображая из себя маяк, и это, пожалуй, еще как-то могло согласоваться со здравым смыслом. Но на берегу залива Маяку мира, подарку Франции к 300-летию Петербурга, а именно так в то время представляли еще только замышляемый объект, просто не нашлось места. Поскольку от подарков отказываться не принято, место для сооружения выделили по принципу «где придется», пришлось на Сенной площади, она большая; концепция при этом легко исправлялась: не маяк, но башня. В самом деле, давно ли Сенная площадь называлась площадью Мира? Вот пусть Башня мира на ней и стоит. Более убедительных аргументов в пользу выбора данного места не предлагалось. На риторический вопрос «а зачем вообще нужна эта вышка Санкт-Петербургу?» был столь же риторический ответ: «Франция дарит».

За два месяца до юбилейных торжеств выяснилось невероятное: правительство Франции не имеет никакого отношения к Башне мира. Зато к ней имеет персональное отношение генеральный комиссар Генерального Комиссариата по участию Франции в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга. Как частное лицо. Как частное лицо он нашел в частном порядке спонсоров частному своему проекту, одним из авторов которого, в частности касающейся концепции, оказалась его жена, художник. В необходимости воздвижения Башни мира в городе Петербурге он сумел заблаговременно убедить лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И вдруг выясняется, это не есть дар непосредственно Франции, а плод частной инициативы ее гражданина.

Пресса злорадствовала. Общественность протестовала. Комиссара из Франции обвиняли в лоббировании семейных интересов. Скандал разгорался. Блоки будущего сооружения были задержаны на границе. Таможенники предъявили городу счет. Казалось, Башни, какой бы она ни была, как не было у нас, так и не будет, все говорило против нее. И все-таки она выросла, выросла как из-под земли. Почему? Зачем? Почему именно здесь?

Не потому ли, что 138 лет назад целовал на этом месте землю Раскольников?

Башня светится, и нутряной ее свет словно исходит самой землей.

Стоя на коленях, Раскольников поцеловал землю два раза – и вот результат: через 138 лет два вертикальных световых луча гиперболоидов башни-светильника многозначительно пронзили петербургское небо.

«...Поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету...». Ритуальный жест Раскольникова означает просьбу о прощении у земли, против которой он согрешил, возвращение к людям, закон которых нарушил, примирение с миром. «... Всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает...». Но посмотрим на башню. «МИР МИР МИР МИР...» – сорок раз только на русском, и еще тот же «мир» – на тридцати двух языках народов мира!

После встречи с Путиным инициатор проекта дал интервью: «Владимир сказал мне... что ему хотелось бы поднять политическое значение Петербурга. «Башня мира» выполнит эту миссию: рядом с ней президенты 50 стран, которые прибудут на празднование 300-летия Петербурга, подпишут особый «контракт с миром». Они на века поставят здесь свои подписи. И эта традиция продолжится – президенты других стран, которые будут приезжать в Петербург позже, тоже будут расписываться здесь».

То есть, согласно этому фантастическому проекту, к месту, где Раскольникову до'лжно было поклониться на все четыре стороны света, со всех концов света должны съезжаться владыки мира и его частей для выполнения ритуала под стать тому, на который решился Раскольников. Ведь ритуальный жест Родиона Романовича тоже можно интерпретировать как своего рода «контракт с миром». Надо полагать, президенты, привлеченные сюда неведомой силой со всего света, оставляя подписи на Башне мира, тем самым в символическом плане должны были бы просить, подобно Раскольникову, прощения у матери-земли, перед которой они все погрешили, а, стало быть, переживать неизбежно минуты духовного очищения.

Поразительно, но, грезя об этой невероятной башне, заинтересованные лица даже не помышляли о Достоевском. Все получалось как бы само собой, без аллюзий на литературный источник.

Жаль, в полной мере осуществить проект не удалось. Было бы интересно. Фаллообразный объект пятиэтажной вышины вопреки обстоятельствам, человеческой логике и настроению горожан, словно по злему волшебству, все-таки вырос, образовался на земле, дважды целованной раскаявшимся убийцей, но этим дело и ограничилось. Башня получилась непрезентабельной. Президенты к ней не съезжались. Договор не подписывали. Как-то привезли сюда актера Депардье. Побывав на Сенной, он сказал: «Большая фантазмагория».

2004

*P.S.* Башня просуществовала семь лет. В июле 2010-м, не выдержав аномальной жары, треснули стеклянные панели конструкции. С невероятной стремительностью объект был демонтирован. Восстановлению не подлежит.

## ЗАКРЫТИЕ ТЕМЫ

### Рассказ протрезвевшего

Я не пьяница, хотя, бывает, срываюсь. Бывает, меня несет вопреки очевидной целесообразности, угрожая историей. Тогда попадаю.

Была бы речь обо мне, тогда бы не было стыдно. Стыдно акцентировать, но в роковой цепи, будучи последним звеном, не я ли получил печать избранничества?

Нет, не совсем. Но и это надо осмыслить.

Боль головы и дрожание рук – вот мой портрет сегодняшним утром. Я берусь за перо, пускай не писатель. Я не только видел историю, но творил своими руками.

Что же думаю тогда о себе, проникаюсь значением происшедшего? Что я думаю о себе? что я думаю о себе? что же я думаю о себе, кроме всего вышесказанного?.. *(Перечеркнуто)*

Я не пьяница, хотя, бывает, срываюсь. Я еще не писатель... *(Перечеркнуто)*

Я не пьяница и не писатель. Я с трудом подбираю слова. У меня болит голова и дрожат руки. Я живой участник событий истории.

Расскажу, что было вчера.

Располагая значительной суммой денег и желая купить жене какой-нибудь хороший подарок, предварительно выпив немного с товарищем, уже без товарища во втором часу пополудни я вышел на Сенную.

Надо ли рассказывать, что такое Сенная?

Сегодня Сенная – это сотни, тысячи людей. Это живые цепи продавцов. Это нескончаемый поток покупателей. На Сенной можно купить все, чему я сам доказательство, как пример покупателя и как гражданин в другом смысле.

Итак, в соответствии с уже сказанным я предполагал купить жене хороший подарок.

Моя жена любит подарки.

Не буду рассказывать о своих впечатлениях, связанных с этой целью. Вопрос о моральном праве, имею ли я или нет сообщить, о чем сейчас говорю, меня сильно волнует. В принципе я никогда не был коммунистом и всегда был далек от политики. Хотя аспект человеческого характера не может не быть моим руководством. Я признаю только это. Такова моя позиция по принципиальным вопросам.

Идя навстречу обстоятельствам и еще не приобретя подарка, я был задержан своим вниманием около продавца алкогольных напитков. Как, должно быть, известно, многие на Сенной освобождаются от имеющегося у них алкоголя простейшей реализацией через продажу. Таково проявление рынка. Что касается дяди Леши, а так звали, как я узнал тогда же, заинтересовавшего меня человека, то о нем говорить, пожалуй, больше не будем, хотя, по правде сказать, это именно он продавал «тридцать третий» портвейн, причем, что примечательно, в розлив. Один стакан стоил семнадцать рублей. Не так дорого.

Осознавая нелюбезные качества моих объяснений, вынужден утверждать, что без них невозможно. Мы выпили. В этом смысле я был не один. Михаилом звали другого, как потом он представился.

Это был человек лет сорока, с бледным припухшим лицом, покрытым морщинистой кожей. Волосы его были гладко зачесаны на правый бок. Лукавый взгляд зеленоватых глаз придавал его облику загадочность выражения. Роста он был невысокого. Кроличья шапка была надета на его голову. Он был без пальто. Вместе с тем в нем не было ничего подозрительного, что бы могло насторожить собеседника.

Непринужденность беседы не предполагала худого.

Напомню, что я был при деньгах.

Короче, пользуясь моим характером, среди черт которого есть уступчивость, или, я бы даже сказал, безотказность, я налил ему по его предложению сверх этого еще столько же, заплатив за обоих.

– Ты, поди, бизнесмен крутой, – сказал мне Михаил, думая, что я действительно крутой бизнесмен, в чем, конечно, ошибся.

Ошибкой с моей стороны было то, что я не отрицал этого и даже сказал, бахвалясь:

– Да, деловой человек.

– Если так, – обрадовался Михаил удачному случаю знакомства со мной, – ты-то нам, приятель, и нужен. Как раз.

– Объяснись, – попросил я Михаила.

– Изволь. Что ты скажешь на то, если я тебе предложу по дешевке ценный предмет?

– Это как по дешевке?

– Договоримся, – сказал Михаил.

– В чем же ценность его? – продолжал я расспросы.

– В том, что стоит безумных денег, причем за границей.

– Полагаешь, продам иностранцу?

– С руками-ногами! Денег хватит тебе до конца твоей жизни.

Предложение меня слегка зацепило.

– Покажи.

– Нет, он дома. Я живу в двух шагах отсюда, идем. Знаешь, как тебе повезло, что я выскочил опохмелиться. Друг мой вон не выходит, дежурит. Вещь такая, не отойдешь. Величайшая ценность.

Забегая вперед, скажу, что друга звали Василий.

Я еще сомневался.

Михаил убеждал. Проявляя, как могло показаться, заботу, в том числе обо мне, он в действительности решал проблемы личного рода. Я же, постепенно сдаваясь, позволял себя соблазнять. В нем был темперамент.

Вышеотмеченная моя безотказность дала себя знать с новой силой, причем любопытство разгорелось во мне, превзойдя предприимчивость, и я, потеряв голову, согласился.

Удивительна та быстрота, с которой пошел я навстречу просьбам незнакомого человека и еще приобрел две бутылки для совершения сделки, – но только тем, кто не смыслит ничего в психологии. Им также, наверное, удивительна необходимость тех или иных действий, обеспечивающих конкретность ситуации. Все это легко объясняется отсутствием у них жизненного опыта, хотя я никого не хочу обидеть, а также тем, что я не писатель и не умею отражать мысли. Особенно сейчас, когда мое состояние удручено состоянием организма.

Мы отправились к Михаилу.

Забыл сказать о погоде. День был солнечный. Все таяло и текло. Солнце светило ярко, лучисто, предвещая приближение уже начинающейся весны, отражаясь на лицах людей гаммой чувств, несмотря на трудности и проблемы. Так и должно быть на самом деле. Кто хоть раз приходил на Сенную, тот знает – здесь не горюют. На Сенной царит дух приподнятости. Здесь хочется быть счастливым.

В том, что жил он действительно недалеко, как и во всем остальном, я не был Михаилом жестоко обманут, но если бы правда высказана была до конца, думаю, что меня остановило бы благоразумие, не говоря уже о том, что в это трудно поверить.

Таким образом, преодолев проходной двор, мы вошли в одну из парадных Санкт-Петербурга и стали подниматься по достаточно малоприглядной лестнице, чей невзрачный вид хорошо описан в художественной литературе. Надо сознаться, мною овладевало пред-

чувствие. Зачаточное оно выливалось в форму испуга. «А что, – думал я, – не ударит ли он меня сейчас по башке и не отберет ли деньги?» (У меня еще оставалось примерно триста рублей.) Но волна здравого смысла пресекла беспричинные страхи, потому что зачем ему тогда было бы просить меня купить еще две бутылки портвейна?

На третьем этаже мы оказались у цели. Двумя продолжительными звонками Михаил позвал Василия к двери. Но тот не открыл дверь, а только спросил:

– Кто там?

– Это я, – отвечал Михаил.

Дверь открылась. Мы впустились в квартиру.

Прихожая (а я оказался именно в ней) была оклеена обоями желтого цвета, несущими на себе орнаментальный рисунок. На стене висело круглое зеркало, а под ним стояла небольшая тумбочка, на которой безучастно лежал чей-то окурок – скромный свидетель образа жизни и не только его одного. Слева у стены возвышался шкаф. Справа располагалась вешалка. Возможно, я ошибаюсь, но планировка квартиры была такова, что в комнату можно было пройти, став спиной к последней, и на кухню – просто повернув направо.

– Кого ты привел? – раздраженно спросил Василий, имея в виду, несомненно, меня и выражая свое нескрываемое неудовольствие.

Лицо Василия не относилось к числу привлекательных, особенно не украшал его крупный лоб. Верхний край носа Василия был излишне вдавлен в соответствующую полость лица, что его, к сожалению, портило. Глаза широко расставлены. Поначалу он мне не понравился.

– Это наш покупатель, – сказал про меня Михаил, – деловой человек.

– Этот? – словно бы удивился Василий. – Посмотри, он на ногах не стоит. Что он купит?

– Это я на ногах не стою? Посмотри на свои! – смело был я возмущен, волю дав нанесенной обиде.

Михаил разрядил обстановку, достав из моей сумки две бутылки уже не раз упомянутого портвейна. Он урезонил Василия. Тот смягчился.

– Он при деньгах? – спросил Михаила товарищ, имея в виду, есть ли у меня деньги.

– Деньги есть, – отвечал за меня Михаил, хотя не знал, сколько именно денег.

– Ты ему рассказал? – задал новый Василий вопрос, потому что он точно не знал, что я знаю и знаю ли я то, что я на самом деле не знаю.

– Нет, – сказал Михаил, – иначе бы он не пришел.

– Ну, тогда надо выпить еще.

Мы очутились на кухне.

К сожалению, этот кухонный эпизод мне запомнился хуже. Вероятно, я в самом деле, как говорят, захмелел. Мы вели разговор, но о чем – врать не буду. Я что-то доказывал. Так устроены память и мозг человека, когда есть полоса, где их слабо касается. То, что было потом до какого-то пункта, я запомнил уже навсегда, но не странно ли это? Нет, не странно. Потому что меня потрясло. Всего потрясло. Я буквально трясусь до сих пор, выводя по прошествии суток нетвердой рукой эти честные строки. Вот Василий, помню, сказал:

– Пошли.

Мы в комнате очутились.

Он лежал на столе.

– Вот, – сказал Михаил.

Я стоял возле трупа.

Если б я был художником слова, я бы знал, какие найти мне слова. Нет, не труп, не оглушающий труп, на обеденном лежа столе, поражал меня своим неожиданным для настоящего места присутствием (в чем с его стороны была лишь, если подумать, одна неуместность), но

его исключительная тому лицу принадлежность, узнать которое для меня было бы слишком ужасно. Чем больше я всматривался в лицо покойника, тем быстрее трезвел, узнавая.

– Ну, признал? – спросил Михаил.

Отрезвевшего, меня покачнуло.

– Ты думаешь, не настоящий? – спросил опять Михаил.

– Ты потрогай, мы тоже сначала не верили, – подстрекая, сказал мне Василий.

– Мужики. Шутки шутками, но без меня. – Я к выходу повернулся.

Я громко сказал:

– Тема закрыта.

– Подожди, не уйдешь. Теперь не уйдешь. Одной ниточкой связаны. Ишь чего захотел.

Закрытая тема...

– Вася, Вася, не горячись. Он просто не верит. Расскажи все, как было.

За трясучестью рук моих мне вовсе не в руки вложили стакан, но к губам поднесли. Чтобы выпил скорее.

– Пей. Раскис...

Не успевшее стать проглоченным потекло вниз по дрожащему подбородку. Я глотал, торопясь.

Мы опять очутились на кухне.

– Знай, что я тебе говорю, – заставлял меня слушать Василий. – Ни в какой газете того не прочтешь, ни по какому ящику не увидишь.

Пренебрегая моей нетрезвостью, он поведал мне великую тайну, от которой рассудок, решительно защищаясь, отключался время от времени. Как хорошо, что не все мною усвоено, не все понято. Но и за вычетом этого понятое мною серьезно будоражит мысль.

Одно верно: Василий знал много. Он владел деталями плана, доступного ему в самых общих чертах. Всепроникновенность мафии – общеизвестное свойство, но знает ли кто, что она дошла и дотуда? Хрустальный гроб обворован – это уже факт истории, не считая того, что известно об этом лишь избранным. Василий поведал мне существо подмены: вместо тела положена кукла, муляж, искусная копия тела. Василий доказывал, что никто не заметил подмены, настолько все сделано гладко.

– Представляешь, какие замешаны силы?

– Но зачем? Но зачем? – изнурял я вопросом сознание.

– Как зачем? На продажу.

– Неужели только затем, – слабо теплился ложной догадкой мой новый вопрос, – чтобы продали мне?

– Не будь идиотом. Тело стоит не один миллион. Его хотели продать за границей. Переправить. По финскому льду...

Финский лед... эмиграция... совнарком... – вспоминалась родная история.

– Но у них сорвалось. На последнем этапе мне было суждено сколачивать ящик. Я же плотник. Вот... результат. Михаил предоставил жилплощадь.

– Вор у вора... – хотел я сказать, что подумал.

– Да, дубинку украл, – развив мою мысль, прекратил щекотливую тему Василий.

Он устало спросил о количестве денег. Я достал все, что было:

– Триста рублей.

– Да. Негусто. Впрочем... на две бутылки. С закуской. Михаил, ты не спишь? – спросил Михаила Василий, заподозрив, что тот почему-то уснул.

Но тот не уснул. Он взял мои деньги и пошел опять на Сенную, предоставив нам ожидание.

Боже, как тяжело вспоминать!

Мы ждали. Времени было около четырех часов. Голоса играющих детей доносились до нашего слуха. Как сейчас помню, они играли во дворе, подобно тому как это всегда происходит независимо от противоречий родителей. Всегда и везде. Солнечный свет мягко падал на стены кухни. Не помню, сказал ли я, что мы были на кухне. Это была обычная петербургская кухня, больше свойственная центру города, чем новостройкам, что доказывают и высота потолков, и немалая площадь. Украшением помещения служила непритязательная акварель, кажется, зимний пейзаж. Вентиляционная труба вела к соседям.

Помню, я сам понемногу дремал, иногда пробуждаясь. Как-то раз я спросил Василия, отчего моя кандидатура вызывает такое упорство, другой покупатель даст, наверное, больше.

– А ты бы с ним пожил хотя бы недельку, я б на тебя посмотрел, – быстро ответил Василий, намекнув, что жить с ним в комнате больше не может.

– Я при нем не курю. Я матом при нем не ругаюсь. Ты заметил, я матом совсем не ругаюсь, – приставал он ко мне, уверяя, что не ругается матом.

И еще я запомнил слова:

– Понимаешь, я книги читаю. О нем. Маяковский. Поэт Евтушенко... Поэт Вознесенский... Ты знаешь такого поэта? – тот Вознесенский писал: «Прозрачное чело горит лампообразно». Но откуда ему это известно? Представляешь? Откуда-то знал! Знал... Неужели он ходил к нему ночью?

– Я тоже хочу еще посмотреть, – сказал я, захотев еще посмотреть, но не справился с телом, упав.

Василий поднимал меня, утешая:

– Увидишь.

– Михаил, я тебя не заметил как ты возвратился, – я сказал Михаилу, если правильно вспомнил сейчас.

– А к тебе он не будет ходить, не боишься, Василий?

– Нет, он труп.

– Нет, не труп. Труп-идея. Больше чем труп. Самый главный труп на земле. Труп-идея.

– Труп идеи? – спросил Михаил.

– Идея трупа, – отозвался Василий и сознался. – Боюсь.

Впечатления этого часа питаются обновленностью, мы как будто стали другими. Безусловно, что-то случилось тогда, взволновавшее сердце, если не бояться сказать образно. Я не люблю излишества от красоты, но бывает, когда невозможно без формы. Исключительно редкое положение, взыскующее осмысления со стороны, иногда требует этого. Хочется сказать: блажен понимающий, что происходит, когда незамутненная посторонним, в чем родила мать, голая мысль бьет тебя словно электрическим током, и ты обретаешь речь. И тогда сами по себе, не нуждаясь в подборе, приходят на ум слова. Истина в своей простоте поражает тебя наглядностью. Оказывается, ты не знал ничего о себе, как не знаешь всего остального, так знай, знай, не пугаясь доступности, что все постигаемо.

Но когда завершается короткий период познания, невозможность его воссоздать безотчетно становится качеством твоей несовершенной памяти, как бы другие ни валили все на похмелье. Последнее не объясняет, но усугубляет трудоемкость творчества, но уже ничего невозможно припомнить. Я далек от мысли, как бы ни хотел ясности. Пустота и страх угрожают явиться. И все же проблески, о чем говорю, есть для меня безусловная ценность, как последняя форма надежды.

Понимаем ли я был в мною упомянутых проблесках? Не до конца. – Он умер в каждом из нас, а вы продаете, – было сказано мною.

Я готов повторить:

– Он умер в каждом из нас, а вы продаете.

Памятен Михаил, проливающий мимо стакана. Другого не помню, чем откликнулся Василий. Кроме того, мы оба страдали. Тот страдал по-другому.

– Нет, – отрицал он, – разве это продажа?

Я стоял на своем:

– Он жил и умер в каждом из нас, а вы продаете.

Василий тоже заплакал. Он был в порошке.

Я понял трагедию этих людей. Меня обожгло, поражая. В порыве я закричал им настоящую правду: ведь это подставка! подставка!

– Слушайте, вы! – закричал я, примерно как и сейчас, дрожа и пугаясь открытия. – Это ж подставка! Вы жертвою пали интриг! Неужели неясно вам, что вас просто подставили, очень умело организовав по-своему?! Они хотят, чтобы вы продали сами. Своими руками. Сами. Вы. Неважно кому. Все подстроено, мужики. Все подстроено. Все. Он умер в каждом из нас, но оставшееся в каждом из нас много ли живее умершего?..

– Повтори, – попросил Василий, перепачканный порошком.

– Он умер в каждом из нас, но то, что осталось в каждом живого, намного ли оно живее умершего?

– Разве я проститутка, – спросил, терзаясь, Василий, – чтобы торговать своей мертвечиной?

С другой стороны сказал Михаил:

– Разве это продажа? – запал в мою память его возражающий голос. – Мы пили портвейн, а теперь пьем водяру. На твои кровные деньги и вместе с тобой. Заедаем сухим молоком из одного дорогого пакета. Нам оказали иностранную помощь, и мы купили его на твой остаток. Мы не продали ничего. Мы пропили. Мы пропили, и ты пьешь вместе с нами.

Помню еще мысль Василия:

– Прошу не считать все это продажей. Мы тебе просто должны. Вот и все. Мы должны. Понимаешь? Должны. Это долг наш. Наш долг.

Был ли то я, если картина моих поступков не целиком отразилась в сознании? Да, я, это был именно я. Например, потрясло, что еще не стемнело. Меня направляла тележка. Большая. Все знают ее по грузчикам гастрономов. Стремительность встречи меня поразила настолько, что запомнилась лучше, чем все. Напряженно работала мысль.

Скажу достоверно, сначала я шел по Садовой. Ящик меня не смущал, несмотря на размер. Я был свободен от выдумок насчет жены как недостойных, как мелких, чтобы она поняла наконец всю сложность и вместе с тем высоту. До того ли мне было тогда? Мог ли я думать? О чем? О пользе? О бескорыстии? А ей бы лишь попилить. Или ты не способна понять, не умеешь окинуть женским умом весь масштаб, всю огромность величия, по сравнению с чем это сущий пустяк, то, что выпил с друзьями, и то, что брюки в земле, и ботинки, и сам, – это мелочь какая-то. Да тебе ли меня порицать, когда я отвечаю?

Потому что решение было принято мною и никто его не отнимет, в тот критический час во многом неправильной жизни: я себе запретил транспортировать к дому. Я принял, решился.

Вчера мною похоронено тело.

Так было. Хочется верить.

Безусловно, когда поразмыслишь, способность что-либо рыть в этом случае, особенно с учетом промерзлости почвы, при трезвом анализе должна показаться небесспорной. Согласен. Кто спорит? Однако повсюду копают, весь город сейчас перерыт, что могло бы способствовать при должном подходе. Ямы не помню, но помню, я стоял на краю. Как много положено на алтарь беспомысленности! И все же лопата была. Отчетливо, ясно. Образ этой лопаты и подошедших детей – лучшее доказательство справедливости сказанных слов. Уве-

рен, дети тоже работали. Я рассказывал им по мере возможностей осознаваемое. Иначе быть не могло.

Верю: мы предали тело земле. Хочется верить. Хочется верить. Верю больше, чем помню. Был ли то сквер или сад, но, быть может, Юсуповский. Впрочем, так ли – не знаю, не надо искать. Все равно не найдете. Даже если память когда-нибудь мне ответит, нет, я не выдам. Нет, никому. Никому. Никому. Никто не узнает. Никто.

*1992*

## 2

### ПО СОСЕДСТВУ С ДОСТОЕВСКИМ

Сколько о Достоевском во всем мире написано работ – тысячи ли, десятки ли тысяч, сотни ли тысяч, – представить даже приблизительно не могу. Кто-нибудь их считал? Скажут: миллион – удивлюсь, но поверю.

После всего, что другими написано, вновь о Достоевском высказываться без особых внутренних на то причин любому автору уже неприлично, вроде бы (речь, впрочем, не идет об авторах школьных сочинений). Без «особых» – это без каких причин? А вот «внутренних», говорю. Чтобы самому себе объяснить, зачем ты на это решился. Скажем, лестное для авторского самолюбия предложение издательства написать очерк о Достоевском<sup>1</sup> – это совсем не тот случай, чтобы со спокойной совестью торопливо отвечать согласием. А как на счет морального права? Какое ты лично отношение к Достоевскому имеешь? Есть ли что-то (себе ответь), что тебя с Достоевским связывает?

В общем, я думал-думал и придумал, что меня с Достоевским связывает, и сразу как-то вздохнул свободно.

Собственно, тут и думать долго не надо было, потому что речь идет о связи предельно формальной.

Но – выразительной.

Имею в виду место жительства. Так получилось, что я с рождения живу недалеко от Сенной площади. Есть такая в Санкт-Петербурге. А окрестности Сенной площади – самые что ни на есть «достоевские» места.

Если кто не читал еще «Преступление и наказание», они там описаны. Да и сам Федор Михайлович Достоевский долгие годы жил поблизости.

Для понимания идейного содержания «Преступления и наказания» вовсе не надо жить рядом с Сенной, но что поделаешь – раз судьба моя здесь жить, вот и говорю, что здесь живу.

Курьез, конечно. Два человека, не знакомых друг с другом, с разницей в несколько лет, полшутя, говорили мне одно и то же: хорошо бы для привлечения туристов установить на Сенной памятник Раскольникову (если кто не читал – герой романа), обязательно с топором (если кто не читал – он им совершит ужасное преступление).

Но когда такая странная мысль приходит в голову людям друг с другом не знакомым, это только о том говорит, что все здесь действительно пропитано духом Достоевского. (Что такое «дух Достоевского», оставим в стороне, речь о том, что «дух» – этот не выдумка.)

Федору Михайловичу нередко предъявляют один серьезный упрек. Вот, дескать, все хорошо, но многие герои у него определенно выдуманы – в жизни таких не бывает. Экцентричные какие-то, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере... какие угодно еще, но только не из жизни взятые, а сочиненные. Я по себе заметил, и другие мне сознавались в том же: странная вещь происходит с нами, с теми, кто в том возьмется укорять Достоевского, – сразу же, как только сподобишься на укор, начинают встречаться по жизни такие яркие личности, что как будто из романов Достоевского взяли: эксцентричные, с выкрутасами, с чрезмерностями в характере, какие угодно еще... Просто без Достоевского мы смотрели на них как-то иначе.

---

<sup>1</sup> Этот очерк вошел в первый том «Литературной матрицы» («учебник, написанный писателями», 2010, «Лимбус пресс»), и адресован он, как следует из текста, тем, кто Достоевского, возможно, не читал, но фамилию слышал.

Вот и я, проходя изо дня в день по Сенной, стал примечать одних и тех же людей. И возможно, они меня примечали – как человека, чье лицо примелькалось. И поймал себя на мысли, наблюдая за некоторыми, что героями Достоевского они запросто быть могли бы. А иные и вовсе словно сошли с его страниц. Поглядишь на себя сторонним взглядом, а чем ты сам лучше их или хуже? А то еще такая фантазия: вот в одно время мы с ним живи и не знай я Достоевского в лицо даже, разве при встрече где-нибудь рядом с Сенной прежде, чем по сторонам развести взгляды, не кивнули бы мы едва заметно друг другу, как примелькавшиеся друг другу прохожие?

Нет, Раскольникову определенно надо было задуматься о фасоне шляпы, чтобы здесь неприметным казаться.

Этот очерк пишется для тех, кто к Достоевскому подступает только. То есть для тех, кто в соответствии со школьной программой прочитал или даже, может быть, еще не прочитал «Преступление и наказание».

Акция с моей стороны не то что б рекламная, но типа того.

Тут без личного опыта не обойтись – так что надобно о себе, о конкретном читателе.

Ну и как же конкретный читатель, а именно я, познакомился с Достоевским?

А так. Да как все. В школе, вестимо.

Заданное на лето «Преступление и наказание», помню, читал (а то было по первому разу) с большим интересом, но не помню, стал бы читать (особенно по первому разу), если б не было такого задания.

После школы – с годами – почти всего прочитал, без всяких заданий. Включая даже черновики и подготовительные материалы.

Как это ни смешно, начальным импульсом к освоению Достоевского послужил мне полусуточный афоризм, чье-то высказывание, услышанное мною лет в семнадцать. Я и потом это слышал несколько раз. Высказывание приписывалось разным личностям, так что чья это идея, утверждать не берусь. Речь шла об оригинальном принципе деления человечества. Тогда мне один человек сказал, что его знакомый делит всех людей на три категории.

Первая – те, кто прочитал «Братьев Карамазовых». Вторая – те, кто не читал, но обязательно прочтет. И третья – кто не прочтет никогда.

Услышав это, я мысленно определил себя во второй группе. В третьей почему-то быть не очень хотелось.

Согласитесь, мысль хоть и простая, но на все человечество кой-какой свет проливает, и главное – на тебя самого, на твое место среди людей.

Может быть, я и сам себе тогда не отдавал отчет в том, что был закодирован на «Карамазовых».

Однажды к ним приступил. Будучи студентом технического института.

Роман бы я и без этого афоризма прочитал – скорее всего. Хотя как знать. Может, и не прочитал бы. Может быть, и вообще бы обходился в жизни без книг.

Потом уже «Бесы» были, и «Идиот», и многое другое.

На Достоевского можно подсесть. Из всех вещей, которые в жизни надо обязательно попробовать, Достоевский не самая худшая.

Но это не значит, что его надо всем читать обязательно.

Если вам все в себе понятно, если у вас не возникает трудных вопросов – ни к себе, ни к окружающему вас миру... если вы уверены, что так у вас будет всегда да и вы сами всегда будете и ни в чем не убудете, на кой леший вам этот Достоевский? Зачем душу зря тревожить?

Он и нравиться всем не обязан.

Тем, кого он раздражает (есть чем раздражать), бог в помощь, например, великий Набоков. Почитайте-ка, как один гений другого терпеть не мог (правда, есть мнение, что Набоков так с ним счеты сводил, потому что внутри него самого сидел Достоевский...).

Нет, было бы вполне нормально, если бы «нормальный» человек как-нибудь впал в оторопь, только лишь поглядев на тридцать томов, не уместающихся на одной полке. Как можно столько понаписать было? Без компьютера и не шариковой ручкой даже – пером, которое окунают в чернильницу?! Это ж надо было всю жизнь, поди, сидеть в кабинете, писать и писать, жизни не видя? Да было ли у него в жизни что-нибудь, кроме этого неустанного сочинительства?

Если мы говорим о Достоевском (а мы говорим о нем), то тут нам надо подивиться другому: как это при такой бурной жизни вообще оставалось место писательству?

Есть такая достаточно редкая категория творческих людей, сознательно создающих свою жизнь как художественное произведение (скажем, к ним относился поэт Байрон). Достоевский не был художником жизни, о красоте своей биографии не заботился, специально приключений не искал, не позволял себе красивых жестов, обязанных запомниться потомкам, он просто жил, но вся жизнь его состоит из таких ярких и выразительных эпизодов, что может показаться, будто она кем-то выдумана, изобретена – слишком уж много событий на долю одного человека.

Если представить невозможное – конкурс писателей всех времен и народов на самый крутой эпизод в биографии, пожалуй, Достоевскому равных не будет. И не обязательно писателей представлять – да хоть любого возьмем: в самом деле, выслушать на морозе – с барабанной дробью – смертный себе приговор и в белой длинной рубашке-саване мысленно попрощаться с жизнью, такое не со всяким случается.

Судьба распорядилась так, что молодой и успешный писатель Федор Достоевский оказался в тайном обществе, хотя какое это было «общество» – так, просветительские собрания на квартирах. Чаще всего собирались у Петрашевского, был он за лидера, отчего и назвали потом всю компанию петрашевцами. «Потом» – это когда объявили государственными преступниками. Лично Достоевскому, главным образом, вменялось в вину публичное чтение письма Белинского Гоголю. Белинский сегодня не самый популярный литератор, но если кто пожелает ощутить себя в коже государственного преступника, которого приговорят к «расстрелянию», пусть прочтет это письмо и непременно вслух – как тогда Достоевский. Итак: арест – следствие – приговор.

Представьте. Снег. Площадь. Войска. Осужденные под конвоем. До сего дня каждый из них провел восемь месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости. Вот три врытых в землю столба. К ним уже привязали первых троих с завязанными глазами. Достоевский на очереди, он смотрит на небо. Солдаты с заряженными ружьями строятся в линию. Звучит команда «прицель». Сейчас будет «пли». В этот момент, в «последний момент», и оглашается другой приговор: всем дарована жизнь.

Каждому – свое. Достоевскому – четыре года каторги, а потом в рядовые.

Ошеломленных «злоумышленников» одевают в теплую одежду. Петрашевского прямо отсюда отправляют в Сибирь. Остальных – назад, в Петропавловскую крепость. Пока.

Всю эту инсценировку казни придумал сам царь. Разработал в деталях. Оно, конечно, очень жестоко, прямо скажем, по отношению к осужденным просто садизм. Один с ума сошел прямо там, на плацу. Но ведь и хуже могло быть, останься прежний приговор в силе. И не читали бы мы ни «Идиота», ни «Братьев Карамазовых».

Ладно – казнь на плацу, каторга, острог – это все очень и очень индивидуальное, почти небывалое, совершенно в своем роде исключительное, – с кем еще могло приключиться такое? Но возьмем то, что свойственно всем, вот, скажем, любовь. Каждый рано или поздно

влюбляется. И пусть любая любовь сама по себе всегда чем-то особенна, у Достоевского и здесь уж слишком все получается по-особенному. (Он-то влюблялся, это мы знаем.)

Любовь вчерашнего каторжника, солдата, к замужней женщине: страсть, экзальтация, самопожертвование, отчаянные поступки вроде рывка из одного сибирского города в другой – без позволения сурового начальства (в самоволку, сказали бы мы); свадьба, омраченная тяжелым припадком... Бурный роман со взбалмошной красавицей, из первой генерации русских нигилисток, она требует от него жертвенной самоотдачи и подчиненья, он старше ее на девятнадцать лет; биографы скажут: «роковая любовь». Анна Григорьевна, его вторая жена и мать его детей – это уже «тихая гавань» (относительно тихая – с учетом множества житейских приключений), да только обстоятельства их знакомства и предложенья руки «эксклюзивны» настолько, что можно точно утверждать: ничего подобного ни с кем другим не было и не будет.

Или такой возьмем фактор – успех. Уточним: успешность дебюта (для писательской биографии всегда немаловажный момент). Никакой литературный дебют не обязан быть непременно успешным; здесь у кого как. Но вот: «Новый Гоголь явился!» – это ж воскликнул не кто-нибудь, а Некрасов, сам познавший на опыте, как и тот же Гоголь когда-то, что значит, сгорая от стыда, уничтожить своими руками тираж первой собственной книги. Феноменальному успеху «Бедных людей», дебютного романа еще совсем молодого Достоевского, даже в масштабах истории мировой литературы трудно найти аналог. Да как только вынес автор из комнаты, в которой жил, рукопись только что законченного романа, тут все сразу и началось: Григорович-сосед, первый слушатель «Бедных людей» в авторском исполнении, сам начинающий сочинитель, пролил слезы потрясения и восторга, а дальше уже понеслось по цепочке: Некрасов, Белинский, читающая Россия...

Потом у Достоевского по-разному получалось, но раз об успехе заговорили, о дебютном, как же не вспомнить о позднем Федора Михайловича – подберем посылнее словечко – триумфе? «Пушкинская речь», прочитанная им на торжествах, посвященных юбилею поэта (это о всемирной-то отзывчивости русского человека), произвела на публику эффект, сравнимый разве что с выступленьем каких-нибудь современных рок-звезд. Ладно бы ликование, крики, шум, выбегания на сцену из зала – двое грохнулись в обморок! Этих двух достойных интеллигентных людей имена сохранила история, но лишь потому (может быть, их и больше было, кто знает...), что упали в обморок от восторга, прослушав речь Достоевского!

Пророк пророком, а святым не был. Среди страстей его была и пагубная – это рулетка. Тоже не совсем обычная для русской действительности, у нас ведь больше картами увлекались. Но, по счастью, в России не было казино, отношения с рулеткой он мог выяснять лишь за границей. Почему человек столь азартный, по природе своей игрок, был равнодушен, в отличие от многих своих современников (в том числе и писателей), к игре в карты? А кто его знает. Думаю, Достоевскому с его состраданием к чужим неудачам и бедам, в принципе, было дико радоваться любой победе над кем-то, – другое дело рулетка, где нет перед тобой живого противника, где проиграть способен лишь ты сам и больше никто. Рулетка – это вызов самой судьбе, испытание судьбы, и это еще всегда отчаянный жест, потому что шансы у игроков заведомо не равные. Он был игроком по существу, по складу своего характера.

Но сказать, что Достоевский играл с судьбой – это ничего не казать: сама судьба отвечала ему с какой-то удивительной выразительностью, словно признавала в нем достойного противника. Он ее искушал – она подбрасывала ему испытания. Он с легким сердцем залезал в долги, чтобы потом прятаться от кредиторов. Подписывал самоубийственный контракт с нечистоплотным издателем, едва не обрекая себя на литературное рабство. Убеждал брата издавать вместе с ним журнал, и это в самый неподходящий момент, когда уже невозможна подписка.

Он легко затевал предприятия, заведомо провальные, разорительные, вновь и вновь бросая вызов судьбе. Судьба отвечала красиво и сильно: все-таки четыре года в кандалах это тоже ответ... Или, скажем, когда счет идет не на годы, а на дни и часы, и надо успеть согласно контракту доделать неподъемный текст к стремительно приближающемуся сроку, ибо ставка – твоя литературная независимость, свобода, опоздаешь и ты лишишься всех прав на свои сочинения, даже на еще не написанные, станешь литературным батраком при хозяине-издателе, хуже – литературным рабом... Он успел! Совершил невероятное: продиктовал «Игрока» в течение считанных дней, еще оставшихся до срока (тема романа более чем подходящая для данной критической ситуации), да еще в итоге влюбился, а потом и женился на стенографистке, самоотверженно ему помогавшей, и это в конечном итоге оказался счастливейший брак!..

Не будем утверждать, что судьба была к нему милостива. Он не раз оказывался на грани катастрофы, страданий он натерпелся сполна. И все-таки его суровая судьба была к нему по-своему снисходительна, словно благородно пренебрегала форой, которую он ей безоглядно и безотчетно давал. Достоевский прожил интереснейшую жизнь и ушел из нее победителем.

Мы не можем не сказать о болезни Достоевского. Да ведь недуг у него был тоже далеко не банальный: эпилепсия, «болезнь пророков», в древние времена считавшаяся священной. Припадки с потерей сознания и судорогами были мучительными, пена на губах и закатывающиеся глаза наводили на свидетелей приступов ужас, Достоевский подолгу приходил в себя, выбитый из ритма жизни, и все же было во всей этой жути нечто такое, что считал он даром судьбы. Нам трудно представить тот опыт (которым он дорожил) особого восприятия реальности в секунды, предшествующие припадку. Это так называемая аура – от греческого «дуновение», «ветерок». В случае с Достоевским «ветерок-дуновение» проявлялся сверхярким, чрезвычайно сильным переживанием счастья и чувством всепронизывающей гармонии. В это предшествующее припадку мгновение он словно проваливался в иное измерение, всеобъемлюще воспринимая реальность и переживая вместе с тем сильнейший восторг. Какого рода зрение ему открывалось, нам дано лишь догадываться в силу наших способностей фантазировать. Пишут, что в зарубежной психиатрии используется специальный термин «эпилепсия Достоевского», то есть и здесь Федор Михайлович высказал себя исключительным образом (щедро «одарив» свою болезнью целый ряд персонажей). Не знаю. Пускай. По свидетельству современника, он признавался, что в те предприпадочные секунды испытывает «такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди».

Но о другом тоже надо сказать – не о болезненном счастье пребывания в иных, не доступных нам эмпириях, а о земном, здешнем, посюстороннем.

Даже если болезнь не брать в расчет, Достоевский, бесспорно, обладал обостренным восприятием мира.

И что касается счастья, позволим себе заявить, он прожил не только богатую на события жизнь, но и очень счастливую жизнь. Наверное, это покажется странным тем, кто считает его только певцом страданий, и тем, кто хочет в нем узнавать только страдальца. Воля ваша, но Достоевский – это тот, кто знал, и знал больше других, что такое счастье. Счастье он переживал чувственно, остро, порой испуленно – и отнюдь не всегда за секунду до приступа. Письма его – и молодого, и зрелого человека – полны признаниями в счастье. Он и в Петропавловской крепости за два дня до отправки на каторгу ощущал себя счастливейшим из счастливых: «жизнь – счастье, каждая минута могла бы быть веком счастья». Счастье – это восприятие жизни как дара. Счастье – это единение с миром. Счастье – это преображение души. Счастье – творчество. Счастье – любовь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.